

ЮРИЙ ЛУНИН



## ДНЕВНАЯ ЛУНА

РАССКАЗ

30 марта 07:09

Андрей:

Привет, Наташа.

Спасибо тебе за такое искреннее и доверительное письмо.

Извини, что долго не отвечал тебе. В последние дни пребывал в каком-то совершенно дурачком состоянии.

Позавчера был в Москве на вечеру памяти одного своего знакомого, который недавно умер. Знакомого звали Саша. Ему было всего 29 или 30. Пару лет назад он перестал отвечать кому-либо на сообщения в vk (которые, если верить интернету, всё же читал или, по крайней мере, открывал), и где-то за полгода до его смерти до меня дошла информация, что он пребывает в тяжелейшей депрессии. Это навело меня на мысль о его самоубийстве, но поскольку его отпевали, эта версия отпадает.

Хочу рассказать тебе про этот вечер памяти, хотя не знаю, будет ли это тебе интересно и зачем вообще это нужно рассказывать. Может быть, это и не нужно, а просто твоя искренность пробуждает во мне ответное желание поделиться чем-то сокровенным. Не знаю.

---

*ЛУНИН Юрий Игоревич родился в 1984 году в г. Партизанске Приморского края. Окончил Литературный институт им. М. Горького (творческий семинар А. Е. Рекмчука, 2010). Работает выпускающим редактором в звуковом журнале для слепых. Прозу пишет с 17 лет. Публиковался в журналах "Наши современники", "Волга", интернет-журнале "Литература" и др., сборнике "Facultet" (2007), альманахах "Пятью пять" и "Радуга". Лауреат премии "Справедливой России", премии им. И. А. Гончарова, премии Л. М. Леонова, российско-итальянской премии "Радуга". Женат, отец троих детей. Живёт в подмосковной деревне Следово.*

Я познакомился с Сашей через его сестру Леру. А Лера — это та самая девушка из института, ради которой я однажды хотел бросить семью. (Помнишь, я как-то упоминал об этой истории во время нашего спора про любовь и влюблённость, когда ты написала, что не понимаешь людей, которые разделяют эти два понятия. Кажется, мы с тобой тогда чуть не поссорились.)

Я сейчас, наверное, буду говорить какие-то ужасные для тебя вещи. Может быть, ты даже больше не захочешь со мной из-за них общаться. Ну что ж, — значит, так тому и быть, хоть я, конечно, очень дорожу нашим с тобой общением. А может, я и не скажу ничего особенного. Не знаю.

В свои 35 я ещё ни разу не переживал смерти кого-то из самых близких людей. У меня, слава Богу, живы родители, живы даже обе бабушки и дед по матери, а дед по отцу умер, когда меня ещё не было. Лет в 5-6 я присутствовал на похоронах прадеда по отцовской линии, но тогда я мало что понимал насчёт смерти. Помню только свой повышенный интерес к похоронному оркестру и то, что не смог поцеловать покойника — спрятался за кого-то.

Теперь я как будто понимаю больше. Во всяком случае, в продолжение последующих 30 лет я много размышлял о смерти и достаточно хорошо убедился в её реальности, неизбежности и постоянной близости к человеку. И всё же она ещё никогда не подходила ко мне вплотную, не дышала на меня так близко, как дышала на некоторых, — например, на тебя. И я, как ни крути, жду этого момента.

Интересное слово — “ждать”. Когда я слышу его, первой на ум всегда приходит мысль об ожидании чего-то хорошего, желанного: ждать урожая, ждать праздника. Девчонка ждёт парня из армии, солдат ждёт от девчонки писем. В принципе, такое восприятие вполне оправдано этимологией: слово-варь Фасмера (я заглянул туда только что) указывает на корневое родство слова “ждать” с неким литовским словом, означающим “жаждать, желать”. А ещё одним родственником слова “ждать” является, кстати, слово “жадный” (буквально — “очень сильно хотящий, желающий чего-либо”). Да это понятно и на слух.

Но почему тогда стало возможным такое, например, словосочетание, как “ждать беды”? Неужели это означает “желать беды”? Вроде бы этимология способна внести некоторую ясность и в этот вопрос: оказывается, слово “ждать” восходит к единой основе со словом “годить”, что означает “медлить”, ну, или вообще как-нибудь проводить время в преддверии чего-то там, а то и без всякого преддверия. Если помнишь, у Салтыкова-Щедрина в одном рассказе героиня сознательно решила *годить*, то есть как-то незаметно убивать время своей жизни, не особо задумываясь о её цели и неизбежном финале.

С другой стороны, значение “медлить, временить” не было присуще слову “годить” изначально. Изначально “годить” означало “приспособлять, прилаживать”, а произошло это слово от первичного “год”, под которым тоже далеко не сразу стали понимать определённый временной промежуток, а понимали просто-напросто нечто “прилаженное, желанное”. Отсюда слова “пригодный”, “пригожий”. То есть, как видишь, опять мы имеем дело с чем-то желанным. Так что выходит, что в *ожидании* заложено *желание*.

Я бы не стал тебя утомлять описанием этой этимологической путаницы, если бы она не находила точнейшего отражения в человеческой... или ладно, не буду обобщать: в *моей* — психике. Дело в том, что при близком рассмотрении граница между ожиданием чего-то хорошего и ожиданием чего-то плохого оказывается вовсе не такой чёткой, как об этом привыкли думать, ведь и в том, и в другом случае человек испытывает некое подмывающее нетерпение в отношении некой точки будущего, и очень часто мне кажется, — вернее, я просто это чувствую, — что само это нетерпение не имеет при себе ни отрицательного, ни положительного знака. Вглядываясь в работу своего сознания, я отчётливо улавливаю в нём нечто такое, что непрерывно и безотчётно жаждет пищи для больших переживаний, не придавая ни малейшего значения тому, чем они будут вызваны — радостью или трагедией. Это как нерв, который просто сокращался от каждого прикосновения, в чём и заключалась первая радость жизни, ещё не знающая ни добра, ни зла.

Знаешь, почти всякий раз, когда мне звонит на мобильник кто-то из родных или знакомых, в те несколько мгновений, пока моя рука подносит телефон к уху, я успеваю проиграть в голове целый букет фантазий на тему того, как я сейчас произнесу “алло” и мой собеседник сообщит мне о чём-то ужасном. И я должен тебе признаться, что в этих фантазиях содержится не один только страх. Я различаю в них мощную примесь чего-то другого, и, по сути, одна только боязнь признать себя конченным моральным чудовищем мешает мне назвать это другое бессознательной *волей к трагедии*. К трагедии — как самому чувствительному из всех прикосновений.

И к чему же я всё это вёл?

А всего-навсего к тому, что когда я узнал на фейсбуке о Сашиней смерти, это моё *ничто* зашевелилось во мне.

“Снова смерть приблизилась к моему миру. Снова её тайна где-то близко”, — приблизительно такими словами можно описать то, что я почувствовал при первом взгляде на фото уже неживого Саши.

Точно не помню, но, наверное, я всё же не сразу выстроил от этой новости логическую цепочку к тому, что теперь на моём горизонте забрезжил легитимный повод ещё раз увидеться с Лерой. Во всяком случае, пытаюсь сохранить в собственных глазах репутацию “хорошего человека” (к тому же христианина), я небезуспешно эту цепочку обрубал и прятал, обрубал и прятал, то и дело выставляя на её месте мысль о самом новопредставленном и его смерти.

“Восплачите о мне, братие и друзи”, — поётся на панихиде как бы от лица самого покойника. И я, как мог, пытался “восплакать”. Но получалось не очень. Не было ни сострадания, ни чувства личной потери — ничего такого, что вроде бы приличествует в подобных ситуациях. Было только шевеление этого *ничто*, да и то — стремительно ослабевающее, потому что Саша слишком отдалился от меня за последние годы.

“Вчерашний бо день беседовах с вами, и внезапно найде на мя страшный час смертный”, — поётся на той же панихиде, и это, конечно, не может не впечатлять; вчера беседовал — и вот уже в гробу. С Сашей же мы последний раз беседовали не вчера, а целых два с половиной года назад, и то — посредством переписки в дурацком интернете, и то — как-то очень поверхностно и принуждённо. Это значительно уменьшало глубину переживания. Силу прикосновения.

Я отправился на кухню, из которой приятно пахло жареным луком (жена готовила суп). Я с удовольствием сварил себе кофе и, сев за стол, рассказал жене про Сашу.

Жена тоже могла выстроить свою особую цепочку от него к Лере, потому что та институтская история была ей хорошо известна. Она узнала о ней, вскрыв тайком мою переписку в интернете (многих женщин подвигают к этому подозрения, вызванные необычными переменами в поведении мужа, и, к сожалению, подлость, которая всё же содержится в подобных разведоперациях, редко когда не бывает оправдана полученными сведениями). Собственно, благодаря этому поступку жены история с Лерой и смялась так быстро в комок. Я сделал выбор в пользу семьи, крепче прижался к церкви, покаялся, проплакался, очухался, бросил пить и так далее...

В общем, жена знала, чьим братом был Саша. Но, видимо, из уважения к святому таинству смерти она согласилась проделать со своей цепочкой то же, что я проделал со своей. И разговор пошёл непосредственно о Саше. А затем о смерти молодых вообще. Правда ли, что умирают лучшие и вообще какие-то особенные? Знают ли они больше нас, обычных людей, о том, как оно всё *там*, — или смерть застаёт их в том же состоянии растерянности и незнания, которое свойственно и нам?..

На Сашины похороны я не поехал. Потому что цепочка всё-таки сложилась: я окончательно понял, что если и отправлюсь туда, то больше ради встречи с Лерой, чем ради прощания с Сашей. Я решил, что если уж внутри меня царит такое свинство, то пускай хотя бы “я” прибегнет к своим контролирующим полномочиям и не даст этому свинству воплотиться в действии.

Я остался дома. И несколько ночей подряд мне снилась Лера.

Дурацкое, конечно, занятие — пересказывать сны. По крайней мере, кому-либо, кроме психотерапевта. Постараюсь быть максимально кратким.

Во сне наши встречи происходили в каких-то ветхих зданиях, похожих на заброшенные советские санатории или пионерские лагеря. Кажется, была осень. Благодаря обилию огромных окон, всё вокруг было наполнено ровным пасмурным светом. Это был какой-то немеркнувший вечер — застывшее время, в котором я мог сколько угодно терять и находить Леру, зная, что она при этом никогда не перестанет быть моей. Каждый раз, когда она неожиданно появлялась рядом, я точно знал, что ей надо торопиться, что сейчас она снова куда-то исчезнет. Мы нежно, как никогда и никто на земле, целовались, обменивались какими-то тихими малозначительными фразами, затем она пропадала, растворялась — и я продолжал ходить по светлым коридорам и комнатам, ни на секунду не наскучивая одиноким звуком своих шагов, а иногда останавливаясь напротив какого-нибудь окна и пристально наблюдая за медленным полётом светящихся пылинок...

Я просыпался в горьком ужасе оттого, что всё это было только сном.

Особенно тяжело было в субботу. Я проснулся удивительно поздно, часу, наверное, в третьем. Моё сновидение оборвалось на том, как я замечаю Леру в конце длинного коридора на втором или третьем этаже здания. Она стоит не в помещении, а на улице, на площадке наружной лестницы. На ней тот самый старомодный бежевый плащ, в котором она была в тот единственный институтский день, когда мы по-настоящему целовались; большего между нами не было. На улице дождь. Я понимаю, что тёплый. Иду к Лере, зная, что она не исчезнет, что она обязательно дождётся меня, что она очень добрая и никогда не появится вдалеке с глупой целью подразнить меня своим неуловимым призраком. Так делали многие до неё, но она не такая. Она любит меня по-настоящему. И тут я проснулся.

Я проснулся и вспомнил, что мне предстоит ехать в храм, на всенощную. Я ведь уже говорил тебе, что пою в хоре. Я представил всё, что ожидает меня сегодня в храме: полумрак, низкие своды, блики свечного огня на позолоте икон, утомительный плен церковнославянского языка, из которого мне снова предстоит по малой капле высачивать ту простую спасительную надежду, которая однажды прибила меня волной к стенам этого самого храма. И таким это всё показалось мне натужным, бедным и мрачным в сравнении с тем светом, который я видел во сне, что хотелось опять уснуть в этот свет и никогда никуда не ехать.

Но я поехал, потому что знал, что на меня рассчитывают; я бы сильно подвёл наш и без того немногочисленный коллектив.

По дороге, сидя за рулём, я курил одну сигарету за другой и жадно любовался небом с его предзакатными облаками, но особенно любовался луной. Дневная луна, размером чуть за половину, спокойно взирающая на солнце, — это то, что завораживает меня на небе больше всего остального: больше звёзд и облаков, больше самого солнца. Почему-то при взгляде на эту луну я всегда невольно произношу про себя слово “эпоха”. Мне кажется, оно очень подходит её тихому белёсому лику, словно бы сотканному из волшебного пуха.

И сколько мне сразу всего захотелось при взгляде на эту луну: купить выпивки, бросить машину, откупорить бутылку, развязаться — и отправиться пьяным бродить по каким-нибудь неизвестным холмам, ловя последние закатное золото и отчаянно сопротивляясь неизбежности, с которой будет надвигаться холодная ночь; повстречать на этих холмах настоящую Леру, целоваться с ней, лежать на душистом мартовском снегу, глядя в небо, и куда-то идти без цели, ради самого пути...

У меня даже заболело сердце.

“Неужели все эти мечты — тьма? — спрашивал я не то себя, не то Господа Бога. — Они так прекрасны. Они как будто исходят от этой луны”.

На всенощной я не мог понять ни слова из того, что пою. Мои связки, язык и губы машинально производили звуки молитвенных песнопений, в то время как сам я наблюдал за пятнами последнего вечернего света, которые проникали в храм через маленькие барабанные окна и медленно ползли по

сумрачным стенам. Вначале золотисто-оранжевые, эти пятна затем розовели, голубели, серели, пока, наконец, не растворились без следа во мраке.

После службы я подошёл к священнику и попросился на исповедь. Я рассказал ему о своих снах и о том, что не могу внутренне отречься от них, признать их плохими. Что я вижу в них красоту. Священник внимательно выслушал меня и спокойно сказал, что это обычное (как он сказал, “классическое”) искушение, ведь нельзя забывать, что идёт Великий пост, а во время Великого поста духовная брань всегда обостряется. Ещё он сказал, что, как бы это ни было сложно, христианин обязан сделать в своей жизни решительный выбор в пользу Христа и Его учения. Он предложил мне поразмыслить, есть ли в красоте этих сновидений отблеск света Христова и Царства Божия, и, испытующе посмотрев мне в глаза, велел готовиться на завтра к причастию.

Когда я вышел из храма, на улице бушевал ветер. Не снег, а ледяные иглы сыпали отовсюду, вшиваясь в лицо. Кроме них, ничего вокруг не было видно. Я кое-как добрался до машины, завёлся и поехал домой почти наугад, еле различая в этом ледяном хаосе дорожную разметку. Ехал и думал: “Какой алкоголь? какие холмы? какие поцелуи? Придёт ночь, метель, обрушится тоска — и всё это станет ненужным. И будешь мечтать только о том, чтобы снова спать в тепле с чистой совестью... Дневная луна обманывает. Да, были те, кто не сдавался, кто принимал ночь и метель, отвергая тепло и чистую совесть как удел слабых и нищих духом. Но во имя чего?”

В воскресенье я причастился. И испытал нечто такое, чего прежде не испытывал. Я шёл от причастия к записке, забыв опустить крестообразно сложенные руки, и смотрел на людей — старушек, подростков, молодых мам с младенцами на руках. Все без исключения лица были настолько прекрасны, что, казалось, излучали какое-то музыкальное сияние. Как будто через них на меня глядел сам Господь. Это очень трудно передать словами. Это было похоже на видение. Казалось невероятным, что когда-то я мог сравнивать людей по красоте, считая одних красивее или некрасивее других, — настолько все они казались совершенными.

После записки я долго стоял перед иконой Христа, не стесняясь того, что плачу, и очнулся лишь тогда, когда мой хор запел: “Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго...”

Это были удивительные минуты. Может быть, лучшие за много лет.

Когда я ехал со службы домой, я снова любовался мартовским небом. На этот раз на нём не было дневной луны, и я спрашивал себя, что бы я почувствовал, если бы увидел её теперь: захотел бы я, как вчера, напиться и отправиться с Лерой по холмам в неизвестную даль? Казалось, что нет.

Вечером, сидя в интернете, я снова заглянул на Сашину страницу в фейсбуке и увидел объявление о том, что завтра в Москве состоится вечер его памяти, приуроченный к девяти дням. И теперь уже решил поехать.

Когда я сообщил об этом жене, она довольно энергично поддержала меня: “Конечно, поезжай”, — а потом всё же не смогла воздержаться от неловкого вопроса:

— Ничего в тебе там не всколыхнётся?

Я сказал, что не всколыхнётся, и в понедельник после работы поехал на этот вечер.

Я не люблю Москву. В Москве у меня всегда портится настроение. Особенно в метро, несмотря даже на новые светлые вагоны. Заняв рассчитанный на одного пассажира стоячий закуток, снабжённый специальной спинкой под поясницу, но приятный, прежде всего, тем, что его не надо никому уступать, я гулял глазами по лицам людей, пытаюсь увидеть в них то же совершенство, которое открылось мне вчера после причастия. Но ощущение совершенства ушло. Старики с их мрачными истрадавшимися лицами вызвали скуку и досаду. Красивые девушки возбуждали обыкновенную похоть. Молодой кавказец, сидящий с похабно раздвинутыми коленями и тупо ёрзающий большим пальцем по экрану смартфона, просто раздражал. Кажется, я смотрел на него с настоящей ненавистью. Я вспомнил, что раньше такую позу называли “рогаткой”, а сегодня это уже “мэнспрединг”. Этот новояз

получил от меня порцию брюзгливого негодования в духе адмирала Шишкова. Потом я вспомнил, откуда знаю это дурацкое слово — “мэнспреддинг”. Из статьи про феминистку, которая целый день ходила по вагону метро, вооружившись баклажкой с какой-то несмываемой краской, выскивала мужиков, раздвинувших вот так ноги, и окатывала их этой краской в районе промежности. Как она потом сказала, это была акция против мэнспреддинга как одного из наиболее ярких выражений мужского доминирования в обществе. Я подумал, что если бы она сейчас расправилась таким же образом с кавказцем, распространившим свои колени на два с половиной сиденья, и тот начал бы её за это бить, то я бы, скорее всего, постарался за неё заступиться, хотя, если честно, в эту минуту поведение одного и второй раздражало меня почти в одинаковой мере. Это был тупик.

Помню, когда вагон остановился, я услышал музыку, которая доносилась у кавказца из наушников: какие-то национальные воинственные барабаны: “там-тидибиди-дам-тидибиди-дам-тидибиди-дам”. Их отдалённый стук на секунду напомнил мне тиканье часового механизма — и как раз в эту секунду кавказец поднял голову и со смеющимся вызовом посмотрел мне прямо в глаза. Его безусое лицо с прямыми узкими губами обрамляла угольно-чёрная, словно бы выплавленная в воск борода. Я почувствовал, как некий участок моего мозга, вероятно, доставшийся мне в неизменном виде ещё от каких-нибудь динозавров, за долю секунды обработал целый пакет специфических зрительных показаний (ширина плеч, толщина шеи, кривизна ног, волосистость рук или что там ещё, не знаю) и донёс до моего сведения, что в схватке один на один эта особь с наибольшей вероятностью легко и хладнокровно погасит во мне жизнь. Прозвучало название следующей станции; я кое-как успел сообразить, что должен выходить как раз на этой, и выбежал из вагона, едва не получив дверьми по бокам...

Вечер Сашиной памяти проходил в культурном центре одного из московских микрорайонов — как раз того, где Саша жил. Оказывается, он был до поры до времени частым посетителем этого заведения — входил в местное ЛитО с интересным, слегка декадентским названием “Сумерники”. Читал там свои стихи и маленькие рассказы, пел песни собственного сочинения.

Помещение, где проходил вечер, представляло собой подобие гостиной конца XIX века, с эркерной стеной, дорогой люстрой, роялем, фальш-камином и гипсовыми бюстами. Это были бюсты знаменитых отечественных писателей. Невдалеке от них, как бы удостоенная временного равноправия с ними, стояла на раскладном стенде большая цветная фотография Саши. Лера и женщина под 60 (как я потом понял, их с Сашей мать) стояли возле этой фотографии, совещаясь по поводу её местоположения: не лучше ли как-то развернуть, отдалить, приблизить? Лера заметила меня и сразу подошла ко мне. Взгляд у неё был совсем не убитый, и даже не растерянный, а только немного усталый, каким, впрочем, нередко бывал и раньше. Мы пожалы друг другу руки. Она была по-прежнему красива, по-прежнему рядом с ней было легко, и мне было странно, что она так никого за эти годы и не нашла.

Я понял, что следует сказать что-то нефальшивое. Я сказал единственное, что пришло в голову:

— Приятное место.

— Да, — сказала она. — Народу, скорее всего, будет раз-два и обчёлся, так что спасибо, что пришёл. Честно говоря, даже не надеялась, что ты появишься...

Последнюю фразу можно было понять как в том смысле, что она об этом тайно мечтала, так и в том, что она попросту забыла о моём существовании, хотя, скорее всего, оба эти понимания были ошибочны. Думаю, она хотела всего-навсего сказать, что не ожидала меня увидеть, просто выбрала не совсем подходящую формулировку. Несмотря на филологический профиль того института, который мы оба окончили, Лера явно не была филологом по призванию и, как я теперь понимаю, допускала подобные неточности довольно часто, не замечая, как сильно выбор слов влияет на смысл высказываний. Может, на этих неточностях, которые я ошибочно принимал за осознанные, так сказать, речевые решения, и выросла когда-то моя влюблённость в неё.

Пожалуй, так оно и есть. Пожалуй, первая же Лерина фраза, от которой у меня по-особому забилося сердце, содержала в себе пример неуместного словоупотребления.

Мы шли после пар к метро и обсуждали какое-то всемирно известное литературное произведение. Помню, она рассуждала о персонажах, как о реальных людях. “Не понимаю, зачем он согласился с ними пойти”. “Не понимаю, почему она не сказала ему, что она его любит”. Мне чем-то нравился такой буквальный подход к тексту, и я не стал высказывать мысль, что лёгкая непоследовательность, наблюдаемая нами в отдельных действиях литературных героев, более всего объясняется стремлением автора как можно скорее достроить своё композиционное здание. Я тоже говорил о героях, как о реальных людях, и получал от этого удовольствие. Потом мы перешли на какую-то нелитературную тему. Беседа оставалась приятной и лёгкой, мы не заметили, как оказались в центре зала метро, где наши пути должны были разойтись.

— Ладно, — сказала Лера. — Надо нам разлучаться...

Она сказала не “расходиться”, не “по домам”, а почему-то “разлучаться”. Передо мной стояла красивая девушка, которая говорила о нашей разлуке. А говорят ли в русском языке о разлуке совсем вне контекста любви?

Несколько дней спустя наше путешествие до метро повторилось. Мы снова очень хорошо и просто разговаривали. И тогда уже я сказал на прощанье:

— Так не хочется с тобой разлучаться.

Она не замечала ни своих, ни чужих неточностей. Но не замечала по-разному. Мои слова о разлуке Лера поняла именно так, как я хотел. И не сделала даже поправки на то, что я был пьян. Её глаза заблестели. Я протянул ей на прощанье правую руку — она дала мне левую, я протянул ей левую — она дала мне правую, и так мы стояли несколько секунд, покачивая руками, пока не подошёл её поезд.

Потом мы стали вместе сидеть на лекциях. Мы редко болтали на них, но нам и не обязательно было болтать. Часто, вместо того чтоб записывать, я рисовал. Закончив очередной рисунок, я передавал его Лере. Она внимательно рассматривала его, бросала на меня весёлый взгляд и с загадочной улыбкой убирала листок в один из своих блокнотов...

А теперь я скажу пару слов о Саше. Тем более что так я быстрее разделюсь со всей Саше-Лериной историей.

Саша не учился в нашем институте. Кажется, он просто не смог в него поступить. Но несколько раз в месяц старшая сестра проводила его на наши лекции. Это был очень красивый приземистый густобровый парень, который почему-то совсем не интересовал девушек.

Часто при нём была гитара. Бывало, что после лекций мы, студенты, небольшой компанией задерживались во дворе института на одной и той же уютной скамейке и там втихаря вышивали. Пару раз во время таких посиделок, когда они складывались особенно душевно и поэтому затягивались, Саша расчехлял гитару и исполнял свои песни. Не думаю, что у него был хороший слух. Но в его интонации было что-то поверх слуха, что-то такое, что позволило какому-нибудь Йену Кёртису или Майку Науменко стать теми, кто они есть, не будучи, как мне кажется, большими слухачами. У меня, например, этого в голосе нет, несмотря на приличный слух. Сашины песни были удивительно искренними, фальши в душевном смысле слова в них не было ни капли. Но почему-то эта искренность не вызвала в душе большого отклика. Может, отчасти сказывалась разница в возрасте. Саша пел о тех проблемах и вопросах, через которые все мы так или иначе уже перешагнули. Нет, не решили их, а просто оставили позади, чем-то заштриховали и где-то даже окрестили их пошловатыми. Мы были когда-то похожими на Сашу и, слушая его песни, думали, что и он когда-нибудь станет похожим на нас. Но этого как раз не произошло. Саша ничего не заштриховал. И когда я прочёл на его странице формулировку: “Его сердце не выдержало...” — я подумал ещё и об этом.

Однажды, это был апрель, мы засиделись у института до такого поздна, что нас уже выдворил за ворота охранник. Расходиться, тем не менее,

не хотелось, мы пошли на фонтанную площадь. Там часто бродили менты, но мы уже были достаточно пьяны, чтобы игнорировать эту опасность.

Через полчаса пошёл дождь, компания стала редеть. Наконец, остались только Лера, Саша и я. Мы сидели на спинках скамеек, поставив ноги на сиденья, и мокли. Лера сидела посередине, Саша сидел слева от неё. Мы с ней передавали друг другу бутылку креплёного вина. Саша не пил. Потом выяснилось, что у нас — последняя сигарета. Я выкурил чуть меньше половины, передал Лере, она сделала несколько затяжек и посмотрела на Сашу:

— Тебе оставлять?

— Да будете на меня переводить... — сказал Саша, однако взял сигарету и затянулся. Его брови задумчиво нахмурились: — Хм. Сейчас как будто нравится, — и он затянулся ещё раз. — Нет, — помотал он головой, — всё-таки не понимаю, — и вернул сигарету Лере.

Мы с ней улыбнулись друг другу.

— Саня, — сказал я, — какой ты хороший. Как мне хочется, чтобы у тебя всё было хорошо...

С минуту все молчали, слушая, как стучит по капюшонам дождь. Я незаметно любовался Лерой и тем, как “считывает” влагу её бежевый плащ. Он стал уже тёмно-тёмно-коричневым — только под рукавами остались круглые пятна сухой ткани, которые казались теперь почти белоснежными.

Потом Саша вдруг наклонился, чтобы видеть меня из-за сестры, и спросил:

— А тебе нравится быть отцом?

По ряду причин я думал над ответом ненормально долго и, кажется, наговорил в итоге какой-то невнятной ерунды — обо всём и ни о чём: да, в целом нравится; впрочем, я не всё ещё осознал, это ведь новый человек, целая вселенная; к тому же, это очень сильно меняет бытовую сторону жизни — и так далее...

— Странно, — сказал Саша, внимательно выслушав меня. — А мне всегда казалось, что это должно быть так круто...

Меня немного озадачили его слова: я ведь вроде бы не сказал, что это не круто.

Посидев ещё минуту, он закинул чехол с гитарой за оба плеча и протянул мне руку.

— Ты куда, мальчик мой? — спросила Лера, вычищая пальцем тушь из уголка глаза.

— В конечном итоге домой, — ответил Саша. — Вы, наверно, ещё хотите помокнуть. — Он выставил под дождь ладонь: — Хороший дождик.

Когда он ушёл, мне стало страшнее, и вместе с тем во мне начало вырастать некое тёплое блаженство близкого неизбежного поцелуя с Лерой. Наконец, я не выдержал этого блаженства, обнял её за плечо, быстро потянулся к ней, она ко мне — и мы целовались.

Потом мы до самой глубокой ночи ходили по Москве, не разбирая улиц и зданий, не замечая ничего вокруг. Я бы ни за что не смог восстановить наш тогдашний маршрут.

Я отключил телефон. Дождь не прекращался, и нам не нужно было, чтобы он прекращался. Иногда, чтобы немного отдохнуть от него, мы заходили в подземные переходы и там подолгу целовались у стен. В переходах, где дурно пахло, где ненужные газеты летали под сквозняками, эти поцелуи как будто избавлялись от греха: в них начинало сквозить простое желание двух людей согреть друг друга в холоде и бесприютности жизни.

Я вернулся домой на первой утренней электричке. Дальше рассказывать не имеет смысла. Это отдельная история, к которой мне не хочется возвращаться...

Мероприятие, действительно не очень богатое на гостей, началось вовремя. Роль условного ведущего взял на себя руководитель Сашиного ЛитО, бодрый дяденька за шестьдесят по фамилии Сумерников. Как ты понимаешь, название ЛитО пошло от его фамилии, о чём он не преминул сообщить с самого начала.

— Впрочем, — оговорился он, — дело, конечно же, не только и не столько в моей фамилии. Просто собирались мы, в основном, по вечерам,



а в русском языке есть такой замечательный глагол — “сумерничать”, — который, вообще говоря, означает “сидеть без огня в сумерках”. Мы, конечно, электричеством пользовались, но в каком-то глубинном, небуквальном смысле мы тоже сумерничали. В тихой обстановке мы пили чай, беседовали на самые важные темы, делились друг с другом творчеством и как-то особенно полно, исповедально раскрывались друг перед другом. И чувствовали себя, не побоюсь этого слова, одной семьёй...

Он рассказал, какую роль в этой семье играл Саша. Это, сказал он, была роль не совсем простого сына, за которого все как-то бессознательно беспокоились — и даже те, кто был младше него. По словам Сумерникова, Саша был тоже недалёк от публикации стихов в каком-то не самом последнем поэтическом журнале, которая — кто его знает — вполне могла дать ему путёвку в “большую поэзию”, как вдруг, года два назад, он как-то ушёл в себя, стал появляться всё реже, а потом и вовсе перестал.

Сумерников прочёл свои стихи на смерть Саши. Лирический герой этих стихов смотрел на молодую птицу, внезапно рухнувшую перед ним на землю и забившуюся в предсмертной агонии. Я запомнил пару отрывков:

*Любовались все твоим полётом —  
Гордой точкой в небе золотом.  
Так скажи, скажи мне, отчего ты  
Разметаешь пыль (каким-то там) крылом?*

И последние две строчки:

*Что ж ты, милый, кровью истекаешь?  
Ведь никто не поднимал ружья...*

Потом к небольшой кафедре подходили по очереди разные люди — “сумерники” и не только. Кто-то читал Сашины стихи, кто-то читал его прозу. Каждый вспоминал свою последнюю встречу с ним, и все сходились на том, что Саша понимал о жизни что-то такое, чего не понимали остальные.

Слушая выступающих, я думал о том, что каждый человек (в особенности хороший), умирая, на некоторое время принимает в глазах знакомых и родных образ мессии и влечёт за собой шлейф религиозного поклонения. У Христа этого шлейфа хватило на 2000 лет и хватит, наверное, ещё надолго, а у людей обычных он относительно короток и является чем-то вроде ритуального подражания тому духовному перевороту, который человечество когда-то испытало в смерти Христа. Какое-то время все, кто знал усопшего, также видят в его словах благую весть и почти не сомневаются, что его смерть не была случайностью, а так или иначе носила характер священной жертвы во имя того, чтобы мир стал лучше. Это мероприятие было яркой иллюстрацией моих мыслей.

— Так и кажется, — вырвалось у Сумерникова где-то посреди вечера, — что он сейчас вот тут, посреди нас. Слушает, видит нас. И звучит в каждом из тех стихотворений и рассказов, что вы читаете.

Последней вышла Лера. Она прочла Сашино стихотворение, одно из последних, из которого мне запомнилось последнее четверостишие:

*Погрелся лучами мая,  
Поел насущного хлеба.  
Увы, не коснулся рая,  
Но просто хочу на небо.*

Все встали и зааплодировали.

— А вот это стихотворение, — врвался в аплодисменты голос Сумерникова, — я обязательно предложу к публикации в следующем номере “Литературной газеты”. Я уверен, что его примут. Лера, пожалуйста, оставьте мне его или пришлите сегодня же по электронной почте.

Народ начал расходиться, а я остался стоять на месте. Я смотрел на фотопортрет Саши, на его густые брови, на его глаза и губы, улыбка которых явно стоила ему некоторого усилия, — и не мог думать ни о чём светлом, а только чувствовал страх — страх того, что никакого Саши среди нас нет, что никого из нас он не видит и не слышит, что мы сами себя только что утешили, устроили здесь маленькое сектантское собрание, а теперь пойдём себе дальше, будем потихоньку жить и потихоньку умирать, с растерянным взглядом уходя в неизвестность.

Не знаю, как так получилось, что мы снова шли до метро вдвоём. Не знаю, кто больше этого захотел и сумел незаметно подвести к этому сценарий вечера, — она или я. Но это не было случайным стечением обстоятельств.

Мы шли по сыроватой вечерней Москве, скорее, по окраине, чем по центру. Я чувствовал лёгкую благодарность к Саше за то, что его смерть накладывает табу на все наши возможные разговоры о той апрельской ночи и вообще о том, что между нами было. Конечно, мы и так не стали бы об этом говорить, просто трагический повод нашей встречи делал это умолчание вполне естественным.

Я был уверен, что на этот раз наш совместный путь к метро не подарит мне никаких трепетных воспоминаний. Огни и звуки, деревья, здания, сам воздух и само наше настроение — всё казалось каким-то антиволшебным, исключаяющим малейшую возможность какого-либо очарования жизнью. И всё же я был рад, что мы идём вдвоём, и мне было немного грустно, что метро уже близко.

— Как тебе вечер? — спросила Лера. — По-моему, получилось тепло. Я рада, что всё прошло именно так — тихо, немного даже одиноко. Саша таким и был. И действительно, — вспомнила она слова Сумерникова, — он как будто был в этом зале с нами. У тебя не было такого ощущения?

Я подумал и сказал:

— Знаешь, не хочу тебя расстраивать, но, пожалуй, нет.

— Почему? — спросила она.

— Потому что если человек и продолжает жить, то всё-таки не в стихах, не в песнях и даже не в добрых воспоминаниях о нём...

— А в чём? — спросила она.

Шум машин, дребезг трамваев, отдалённый подземный гул метрополитена, стук тонких веток над нами — вся Москва как будто вдруг умолкла, чтобы выслушать мой ответ. И сам я словно бы почувствовал, что от этого ответа многое зависит. И будущее разделилось передо мной на две дороги. На первой — я повернул к себе Леру, обнял её, как сестру, и сказал:

— В том, что все мы действительно воскреснем.

Произнося эти слова, я, кажется, не до конца в них верил, но их собственная сила вдруг залила меня и... и я не знаю, что было дальше. Может быть, другой мир, другая жизнь. Эллинам безумие, иудеям соблазн...

А на второй дороге, которую я в итоге избрал, — я внезапно ощутил дыхание тёплого ветра из метро, заметил, как он колышет светлые Лерины волосы, ниспадающие волнами из-под чёрного берета, почувствовал, что ещё много-много раз хочу испытать замирание сердца при виде дневной луны на ясном небе, и сказал:

— Я не знаю.

Мне показалось, что Москва тут же спокойно, будто облегчённо вздохнув, возобновила своё движение и шум. Как и тот, первый, я тоже обнял Леру, правда, только одной рукой, за плечо, не замедляя шага, и моя рука очень скоро заскользила по её спине и переместилась обратно в карман.

— Жалко, что ты не знаешь, — сказала Лера. — Наверное, мне бы это очень сейчас помогло.

Засветился подземным светом спуск в метро.

— Знаешь, — сказала она, — я, наверное, всё же вернусь в КЦ. Маме всё-таки надо помочь.

Я понял, что это было правильно.

— Хорошо. Пока, — сказал я. — Рад был тебя видеть.

— И я тебя.

Мы пожали друг другу руки и без лишних слов разошлись в противоположные стороны.

Я думал, что дорога домой покажется мне унылой и бесконечной. Но вышло не так. Все два часа пути меня грела беспричинная мысль о том, что произошло что-то хорошее. Что у меня ещё будет время пожить, подумать и поизвлекать из непослушной твердыни церковнославянского языка крупички подлинного Сашиного бессмертия.

Вот, собственно, и всё. Как ты понимаешь, Наташа, это письмо было написано не за один присест. Я писал его три вечера и три ночи. А сейчас уже раннее утро. Я не буду ничего перечитывать. Честно говоря, я не помню уже точно, ради чего начал, и не знаю, чем теперь закончить. Поэтому просто нажму сейчас на значок “отправить”.

Жму твою руку.

Пиши.

*1 апреля 01:04*

*Наталья:*

Привет, Андрей.

Не отпускает твоё письмо. Вчера вечером прочла и тут же перечитала его, а сегодня целый день шаталась по городу под дождём. Слушала почему-то только “Joy division”. Вот, прилагаю к письму фото насквозь промокших кедров.

Какие они все удивительные — и Саша, и Лера. И этот Сумерников. И, конечно, ты во всём этом тоже. И как это всё печально, Андрей! У меня просто нет слов...

Я, может, ещё напишу тебе что-то по этому поводу. Пока просто нет слов...

Пиши.

P. S. : Не хотела поднимать эту тему, но всё-таки подниму: как ты думаешь, Андрей, в нашей переписке нет ничего предосудительного в отношении твоей семьи? Прости...